**Эрнест Хемингуэй**

**I. ИСТОКИ И КОРНИ**

Осенью 1926 года, после выхода первого романа “И восходит солнце” (“Фиеста”), 27-летний Хемингуэй сразу стал знаменитостью. Между тем он уже несколько лет был надеждой не только сверстников по перу, но и таких мудрых стариков, как Линкольн Стеффенс и Форд Медокс Форд. У него за плечами было уже четыре книги — рассказов, стихов, сатиры. Но каков был тираж этих книг: последовательно — 300,170,1335,1250 экземпляров. Они были известны только в узком кругу завсегдатаев Монларнаса и Гринин Вилледжа и замечены только наиболее проницательными — из критиков Эдмундом Уилсоном, из редакторов Максуэллом Перкинсом.

Но Хемингуэй рано осознал себя человеком пишущим, не литератором, и еще не писателем, а просто тем, кто не может не закреплять на бумаге свое восприятие мира, не может не делиться им с другими.

Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в Ок-Парке, маленьком, чистеньком городке, рядом с Чикаго — этим крупнейшим торгово-промышленным Центром Среднего Запада. Гам делались дела и Деньги, а здесь, в этом городке коттеджей и колледжей, лишь оседало нажитое в Чикаго.

Он рос в культурной, обеспеченной семье, и родители, каждый по-своему, пытались направить его интересы. Отец — врач по профессии и этнограф-любитель по душевной склонности — увлекался охотой, брал с собой Эрна в леса, водил в индейские поселки, старался приучить сына наблюдать природу, зверей, птиц, приглядываться к необычной жизни индейцев. Видимо, он надеялся, что старший сын продолжит традицию семьи Хе­мингуэев, которая насчитывала несколько естественников, врачей, этнографов, путешественников-миссионеров.

А мать — любительница музыки и живописи, обучавшаяся пению и дебютировавшая в нью-йоркской филармонии, тут, в своем городке, принуждена была довольствоваться преподаванием, пением в церковном хоре, а сына стремилась обучить игре на виолончели. Музыканта из Эрна не получилось, но любовь к хорошей музыке и к хорошим картинам с новой силой пробудилась в Хемингуэе уже в зрелые творческие годы.

Разумеется, нельзя целиком отождествлять действительного доктора Кларенса Хемингуэя и его жену с вымышленными образами родителей Ника Адамса и Джордана, но вот как трансформируются отголоски жизни на страницах книг Хемингуэя. В ранних рассказах показан дом отца, провинциального доктора, очень напоминавшего чеховских земских врачей. Атмосфера скучных, серых будней и образ слабовольного мужа под башмаком у елейного деспота — **жевпы.** Именно она, жена, задает тон этого житья-бытья. Она член “ Общества христианской науки”, на ее столике неизменная Библия и номер журнала “Христианская паука” (“Доктор и его жена”). Она целыми дня ми молится о сыне и муже, зная, “что мужчины слабы” (“Дома”). Она внушает мужу “Помни, тот, кто смиряет дух свой, сильнее того, кто покоряет города”, — и зудит его 'с неизменным припевом “милый”. После нескольких таких реплик у него руки опускаются:

“Ружье само стало в угол за шкафом — расхотелось даже на охоту идти, и кипа нераспечатанных медицинских журналов растет на полу около его стола. А когда дверь за ним захлопнулась и раздался ее вздох, он говорит через окно: “Прости”,— и слышит в ответ: “Ничего, милый” (“Доктор и его жена”). Его единственная утеха — собирание коллекций. Сначала это заспиртованные змеи и ящерицы — она сожжет их при переезде в новый дом, потом индейские древности, и она опять сожжет их в его отсутствие при очередной уборке. “Я убирала подвал, мой Друг”,— улыбаясь, встречает она его па крыльце, и он молча принимается спасать обгоревшие остатки, и максимум его протеста -ото сказанные Нику слова: “Самые лучшие наконечники пропали” (“На сон грядущий”).

И образ отца — хорошего, но слабого человека с безвольным подбородком, но зорким глазом и твердой рукой охотника и хирурга (“Отцы и дети”). Он настолько подавлен и безответен, что близкие не принимают его всерьез даже в том, в чем он действительно мастер своего дела. Когда он делает операцию кесарева сечения охотничьим ножом и зашивает рану вяленой жилой, дядя Джордж роняет: “Ну еще бы, ты у нас знаменитый хирург!” (“Индейский поселок”).

Отец — спутник его детства и отрочества. Но “после того, как ему исполнилось пятнадцать лет, у него не было ничего общего с отцом” (“Отцы и дети”). Позднее отец возникает лишь в сумеречных воспоминаниях и снах ночного существования, а спутник его возмужалости, пример упорного и мужественного дневного труда — это дед, участник Гражданской войны 1861-1865 годов.

Ок-паркская средняя школа по уровню общеобразовательной подготовки была на очень хорошем счету. Хемингуэй с благодарностью вспоминал своих преподавательниц родного языка и литературы, а школьная газета “Трапеция” (“Тгареге”) и школьный журнал “Скрижаль” (“Tabu 1 а”) дали ему возможность попробовать свои силы и в фельетоне (особенно спортивном), и в беллетристике. За что ни брался Эрни, он во всем старался не ударить лицом в грязь. Он был капитаном и тренером разных спортивных команд, брал призы по плаванию и стрельбе, был редактором “Трапеции”. В эти школьные годы он много читал и позднее, уже после “Фиесты”, утверждав, что писать он научился, читая Библию. Из традиционного школьного чтения Хемингуэя не затронули ни стихи Теннисона и Лонгфелло, ни романы Вальтера Скотта, Купера, Гюго, Диккенса. Зато Шекспир остался на всю жизнь. Позднее он говорил, что слишком хорошо помнит “Ромео и Джульетту” и “Отелло”, чтобы часто возвращаться к ним, но “Лира”, например, перечитывает каждый год. Также на всю жизнь остался “Гекльберри Финн” Марка Твена, книга, которую зрелый Хемингуэй считал истоком современной американской литературы. Но Марк Твен, как автор “Человека, который совратил Гедлпберг”, был, конечно, не в почете в Ок-Парке и едва ли попадался на глаза юного Хемингуэя. Как и Джек Лондон, автор “Железной пяты” и “Мартина Плена”. Интересно, что и потом, выросши, Хемингуэй к Джеку Лондону уже как-то не возвращался. А из внеклассного чтения от этой поры остались в памяти Хемингуэя простые и трезвые морские романы Капитана Мариетта, “Королева Марго” Дюма, как книга о товариществе и верности, и рассказы Киплинга.

В школьной газете и журнале Хемингуэй писал спортивные отчеты, юморески и “страшные” рассказы. У школьников тогда в моде был живший в соседнем Чикаго писатель Ринг Ларднер, причем не столько как горький и жесткий сатирик, сколько как остроумный на свой чикагский лад фельетонист и спортивный обозреватель. Ему-то на первых порах усердно подражал и юный Эрна. Классному наставнику, как куратору школьного журнала, неоднократно попадало от инспектора за ироническую вольность заметок ученика Эрнеста Хемингуэя.

Из тридцати с лишним публикаций в “Скрижали” выделяются три: в феврале 1916 года

— основанный на индейском фольклоре рассказ “Суд Маниту” — об убийстве старым охотником молодого спутника по охоте. В апреле 1916 года— “Всё дело в цвете”— рассказ старого боксера о нечестном матче уже с характерным для позднейшего Хемингуэя рубленым диалогом и профессиональным языком. И, наконец, в ноябре 1916 года — “Сепи Жинган” — рассказ о кровавой мести, где рассказчик-индеец более поглощен оценкой разных сортов трубочного табака и заботой о своей собаке Сепи Жингане, чем воспоминаниями о свирепой расправе с обидчиком, которую он вспоминает так, между прочим.

По этим рассказам видно, что Хемингуэй успешно усваивал первоначальные навыки литературного письма; видно и то, что он стремился закрепить непосредственные впечатления, а они, конечно, были главным в формировании человека и писателя. Дома, в Ок-Парке, его окружал душный обывательский мирок, который он скоро ощутил, а несколько позднее изобразил в рассказе “Дома”.

У отца был за озером Мичиган, в нетронутых ещё тогда лесах, маленький охотничий домик на берегу Валун-Лэйк, куда он спасался от своих городских обязанностей и жениных гостей, где он охотился, даром лечил индейцев близлежащей резервации, собирал коллекцию предметов индейского быта. Туда он брал с собой сына;

там же, позднее, на Биг-ривер, охотился, уже в одиночку, и любимый герой Хемингуэя Ник Адаме. Но и в этом домике верховодил не доктор, а его жена.

Эрни было мало редких охотничьих вылазок с отцом. Он хотел повидать свет своими глазами. На каникулах он не раз пускался в бега — работал на фермах или мойщиком посуды в придорожных барах. За недели, а то и месяцы этих скитаний он встречал немало бродяг, пьянчужек, гангстеров, женщин легкого поведения — словом, всякую придорожную накипь, о которой позднее он писал в рассказах “Чемпион”, “Свет мира”. Но приходила осень, и Эрни, хлебнув свободы, возвращался к душной школьной и домашней рутине.

А зимой удавалось вырваться только в Чикаго, где он стал обучаться боксу. На первом же уроке тренер расквасил ему нос, позднее серьезно был поврежден глаз, но Эрни упорствовал и впоследствии стал первоклассным боксером. Уроки уроками, а попутно он приглядывался к новому для него миру боксеров, барменов, гангстеров, о которых он писал позднее в рассказах “Пятьдесят тысяч”, “Убийцы” и др. Этот Чикаго оказывался гораздо более неприглядным, чем Ок-Парк, и у Эрни назревало решение — “уеду я из этого города”.

. Шел 1917 год. Америка вступила в первую мировую войну, и Эрни, тем временем кончив школу, стремился **попасть в** армию. Но от матери он унаследовал неважное зрение, к тому же сказалась травма глаза, полученная при тренировке, и в армию его не принимали. Близость Чикаго сказалась на культурном уровне Ок-Парка. Когда вспоминаешь, что полученное в средней школе Ок-Парка образование уравняло на­читанность и тягу к знанию Хемингуэя со многими его сверстниками, получившими университетский диплом, что эта школа приохотила его к Шекспиру, Мерло, Чосеру, — не приходится особенно сожалеть, что Хемингуэй не кончил какой-нибудь теологический или философский факультет или узкотехническую школу, где бы на него могли надеть те или иные деляческие шоры.

Взамен высшего академического образования Хемингуэй прошел целых три жизненных университета. Первым из них была школа журнализма И первым курсом— репортерство в провинциальной канзасской газете “Стар”. Для многих американских писателей традиционным путем в литературу была газета, но Хемингуэю повезло, что он начал не в продажных органах желтой прессы, где ценилась только сенсация, к тому же преподносимая в форме установившихся штампов. Для усвоения газетной техники Хемингуэю пригодилось то, что он был редактором школьной “Трапеции”, по от установившегося там развязного газетного штампа пришлось отвыкать. “Канзас стар” была одной из независимых провинциальных газет, руководимая журналистами старой школы. Здесь ценили факт и точную, деловитую, лаконичную его подачу. За семь месяцев напряженной работы в “Стар” Хемингуэй получил много полезных профессиональных навыков. О том, как воспитывали в Канзас-Сити новичков, можно судить по некоторым из сложенных здесь “Ста заповедей газетчика”:

— Пиши короткими предложениями. Первый абзац должен быть краток. Язык должен быть *сильным.* Утверждай, а не отрицай. — Бойся обветшалых жаргонных словечек, особенно когда они становятся общеупотребительными. Воспринимается только свежий сленг.

— Избегай прилагательных, особенно таких пышных, как “потрясающий”, “великолепный”, “грандиозный”, “величественный”.

“Единственная стоящая 'форма рассказа,— наставлял молодых репортеров старый газетный волк Л. К. Моис, — это объективное изложение. Никаких этих потоков сознания. И нечего разыгрывать из себя стороннего наблюдателя в одном абзаце и всезнающего господа бога в следующем. Словом, никаких этаких штучек”.

От всех репортеров здесь неукоснительно требовали соблюдения подобных заповедей, и это пошло впрок Хемингуэю: “Работая в “Канзас стар”, — вспоминал он позднее, — я старался о простых вещах писать просто”. Репортерская работа опять сталкивала Хемингуэя с преступными городскими низами:

гангстерами, грабителями, спортивными жучками и с полицией. Эти встречи снабдили его большим запасом жизненных наблюдений. Ему открылась жизнь, где одним *слишком* хорошо, а другим — *слишком* плохо, где тягостны и невыносимая нищета, и несносное благополучие. Где репортеру можно было писать всю правду о бродяге и слишком мало правды о богачах. И постепенно накапливалось у него еще смутное сознание социального неблагополучия. Все это позднее отразилось во многих его произведениях, а некоторые страницы первого сборника Хемингуэя “В наше время”, как, например, миниатюры о подстреленных грабителях-венграх и о повешении Сэма Кардипелла, — 'это явно литературный задел канзасского репортера Хемингуэя.

П. ВОЙНА

Следующим из жизненных университетов стала для Хемингуэя первая мировая война. В те годы, когда Европа была уже охвачена войной, в США сознание своей мощности и неуязвимости порождало настроение самодовольного изоляционизма и лицемерного пацифизма. С другой стороны, в рабочей, в интеллигентской среде нарастал и сознательный антимилитаризм. Однако США уже с начала века стали империалистической и даже колониальной державой. Как правительство, так и крупнейшие монополии были заинтересованы в рынках, ревниво следили за переделом колоний, сфер влияния и т. п. Крупнейшие капиталисты осуществляли усиленный экспорт капитала. Дом Моргана совершенно неприкрыто был банкиром Антанты. Но официальная пропаганда, этот рупор монополий, обрабатывая общественное мнение, все громче кричала о немецких зверствах: нападение на маленькую Сербию, разрушение Лувена, наконец, подводная война и потопление “Лузитании”. Газеты все настойчивее требовали, чтобы США приняли участие в “войне за спасение демократии”, в “войне, чтобы прикончить войны” и т. д.

Конечно, были и в Соединенных Штатах трезвые 1 люди, которые не давали себя одурманить. Такие, как Джон Рид, который самолично видел колониальную войну в Мексике и империалистическую в Европе. Это Джон Рид, художники Арт Йонг, Джо Майнос и другие создали во время войны прогрессивный журнал “Мэссиз”, который проводил последовательную антимилитаристскую линию и привлек в качестве сотрудни­ков лучших представителей как старшего поколения -) радикального протеста (Линкольн Стеффенс, Эптон Синклер, Карл Сэндберг, Билл Хейвуд), так и еще не дифференцированную группу молодых сотрудников (Майкл Голд, Ленгстон Хьюз, художник Вильям Гроп-пер, Джозеф Норт, в то время еще радикально настроенный Дос Пассос и др.). “Мэссиз” оказывал оздоровляющее и революционизирующее влияние па некоторую часть интеллигенции, он находил своего читателя и среди рабочих. Но неискушенные круги американской молодежи были 'одурманены газетной шумихой; война представала в романтическом ореоле, она представлялась отдушиной из гнетущего мира повседневности. Возможность поступить санитарами и шоферами-добровольцами в Красный Крест и принять участие в войне, не отсиживаясь в окопах, не проходя военной муштры, увлекала многих.

Все это были лично храбрые, честные юноши; призрак военщины и открывшаяся им изнанка войны заставляют их сторониться своей армии. Дос Пассос, Г. Кросби, Хемингуэй работают в санитарных отрядах на итальянском фронте. Из писателей с именем только Хемингуэй перешел в строй в итальянские ударные части и был дважды награжден за храбрость, да поэт Арчибальд Мак-Лиш, начавший со службы в фронтовом госпитале, “от стыда” также перешел в строй и закончил войну капитаном американской полевой артиллерии.

Страшный опыт войны — чужой империалистической войны в. Европе — ломал и коверкал сознание едл'1 сформировавшихся юношей. Иные из них, как Хемингуэй, Мак-Лиш, “становились еще крепче на изломе”, но кое-кто оставался с неизгладимой военной травмой, а то и шоком.

Вот один из таких. Гарри Кросби, племянник самого Пирпонта Моргана, молодой, богатый, удачливый, поэт-солнцепоклонник. В 1917 году под Верденом на “Священной дороге” он попал со своим санитарным автомобилем под германский заградительный огонь. Товарищи Кросби остались на полях под Верденом, а он уцелел только для того, чтобы почувствовать, что внутри у него что-то родилось и сейчас же умерло, и дальше, через ряд лет, за видимостью внешнего успеха, личного счастья, меценатства, создания издательства “Черное солнце”, проходит сумасшедшая идея о смерти как мистическом приобщении к солнцу, безумный дневник и самоубийство на пароходе, по пути домой, в объятиях убитой им любовницы.

Пожалуй, единственным освежающим впечатлением для этих неоперившихся юнцов была встреча с простыми, цельными, собранными, мужественными людьми, которых отбирала и ставила в первый ряд война. Ричард Олдингтон — один из самых талантливых представителей английской ветви “потерянного поколения” — так говорит о впечатлении, которое произвело на его героя, новобранца Джорджа Уинтер-борна (“Смерть героя”) первая его встреча на пароходе с обстрелянными солдатами: “В первый раз со дня объявления войны Уинтерборн почувствовал себя почти счастливым. Вот это люди! Было в них что-то напряженно мужественное, что-то целомудренное, удивительно дружелюбное и бодрящее... Эти люди казались измученными и постаревшими, но кипели энергией, какой-то медлительной своеобразной и терпеливой энергией... Это были люди!”

Для тех, кто становился “крепче на изломе”, кому было доступно фронтовое братство,— такая встреча в значительной мере определила всю дальнейшую жизнь;

вот как писал об этом в 1936 году А. Мак-Лиш в своем “Слове к тем, кто говорит:

“Товарищ”:

Тот мне брат, кто со мною в окопах

Горе делил, невзгоды и гнев.

Почему фронтовик мне родное, чем брат?

Потому что мыслью мы оба шагнем через море

И снова станем юнцами, что бились

Под Суассоном, и Мо, и Верденом, и всюду.

Французский кларнет и подкрашенные ресницы. Возвращают одиноким сорокалетним мужчинам Их двадцатое лето и стальной запах смерти;

Вот что дороже всего в нашей жизни — Вспоминать с неизвестным тебе человеком Пережитые годы опасностей и невзгод.

Так возникает из множества поколенье — Людская волна однокашников, однолеток. Перемирие было встречено с восторгом, но не принесло разряда накопившегося напряжения: “В первый день перемирия мы ликовали, а наутро не знали, что нам делать”,— писал американский критик и поэт М. Каули.

Хемингуэй, как и многие его сверстники, рвался на > фронт. Но в американскую армию его упорно не принимали, и поэтому вместе с товарищем он в апреле 1918 года завербовался в один из санитарных отрядов, которые США направили в итальянскую армию. Это был один из самых ненадежных участков западного фронта. И так как переброска американских частей шла медленно, эти добровольные санитарные колонны должны были также демонстрировать американскую форму и тем самым поднимать дух неохотно воевавших итальянских солдат.

Вскоре автоколонна Хемингуэя попала на участок близ Фосс альты, на реке Пьяве. Но он стремился на передовую, и ему поручили раздавать по окопам подарки — табак, почту, брошюры.

В ночь па 9 июля Хемингуэй выбрался на выдвинутый вперед наблюдательный пост. Там его накрыл снаряд австрийского миномета, причинивший тяжелую контузию и много мелких ранений. Два итальянца рядом с ним были убиты. Придя в сознание, Хемингуэй потащил третьего, который был тяжело ранен, к окопам. Его обнаружил прожектор и задела пулеметная очередь, повредившая колено и голень. Раненый итальянец был убит. При осмотре тут же на месте у Хемингуэя извлекли двадцать восемь осколков, а всего на­считали их двести тридцать семь. Хемингуэя эвакуировали в Милан, где он пролежал несколько месяцев и перенес ряд последовательных операций колена. Выйдя из госпиталя, Хемингуэй добился назначения лейтенантом в пехотную ударную часть, но был уже октябрь, и скоро было заключено перемирие “Тененте Эрнесто” — Хемингуэй был награжден итальянским военным крестом и серебряной медалью за доблесть — вторым по значению военным отличием.

Однако война отметила его и другим. Он никогда не мог избавиться от потрясений, описанных позднее в “Прощай, оружие!”... После контузии он надолго лишился способности спать в темноте ночью и его долго тревожили кошмары; это была не только физическая травма. Личные впечатления, общение с рядовыми итальянцами, их рассказы о капореттском разгроме, антивоенные демонстрации на улицах Милана, выкрики:

“Долой офицеров!”— все 'это на многое открыло глаза Хемингуэю глубоко потрясло его. В рядах чужой армии, в чужой стране, он стал свидетелем бесцельной бойница чужие и чуждые интересы, где, в отличие от чикагских боен, мясо просто зарывали в землю. Здесь впервые раскрылся Хемингуэю страшный мир, где все конфликты хотят решать войной, открылся и основной закон этого волчьего мира — война всех против всех.

“Уходишь мальчиком на войну, полный иллюзий собственного бессмертия. Убьют других, не тебя... А потом, когда тебя серьезно ранят, ты теряешь эту иллюзию и понимаешь, что могут убить и тебя”. Так было с самим Хемингуэем, так стало и с его героями. Война показала Хемингуэю смерть без покровов и героических иллюзий. “Абстрактные слова, такие, как “слава, подвиг, доблесть” или “святыня”, были непри­стойны рядом с конкретными... названиями рек, номерами полков и датами”. Непристойны потому, что они действительно были лживы в данной обстановке. А потом пришло время, когда для его полковника Кант-уэлла (“За рекой, в тени деревьев”, 1950) неотступным кошмаром стал самый номер его собственного полка, полегшего в ненужной атаке уже на полях второй мировой войны.

Тогда, в Италии 1918 года, Хемингуэй был еще не писателем, а 'солдатом, но, несомненно, что впечатления и переживания этого полугода на фронте не только наложили неизгладимую печать на весь его дальнейший путь, но и непосредственно отразились в ряде его произведений.

В 1918 году Хемингуэй возвращался домой в Соединенные Штаты в ореоле героя, одним из первых раненых, одним из первых награжденных. Может быть, это некоторое время и льстило самолюбию молодого ветерана, но очень скоро он разделался и с этой иллюзией.

Однако вскоре Хемингуэй стал тяготиться журнализмом. Не то чтобы ему не нравилась работа разъезд иного корреспондента, но он стал опасаться, что увлечение ею повредит ему как писателю. Позднее, в своей “Автобиографии”, патриарх американского журнализма Линкольн Стеффенс вспоминал:

“Как-то вечером, во время Лозаннской мирной конференции, Хемингуэй показал мне своп депепти с греко-турецкого фронта. Он только что перед тем вернулся с театра войны, где наблюдал исход греческих беженцев из Турции, и его депеша сжато и ярко передавала все детали этого трагического потока голодных, перепуганных, отныне бездомных людей. Я словно сам их видел, читая строки Хемингуэя, и сказал ему об этом. “Нет,— возразил он,— вы читаете код. Только код. Ну, разве это не замечательный язык?” Он не хвастал, это была правда, но я помню, как позже, много позже он говорил: “Пришлось отказаться от репортажа. Очень уж меня затягивал язык телеграфа”.

Долгие годы Хемингуэй-газетчик был свидетелем всякого рода парламентской возни, его это приучало путать большие политические вопросы, волнующие все человечество, с интригами и корыстной игрой политиканов — и он часто отмахивался от политики вообще. Сказывалась типично американская нелюбовь к теории, анархо-индивидуализм западного интеллигента его поры, ненависть ко всяким закулисным махинациям. И все же, вспоминая позднее о кризисном для него 1923 годе, он пишет: “Помню, как я возвратился с Ближнего Востока... совершенно подавленный тем, что происходит, и в Париже пытался чем-то помочь делу, то есть стать писателем... Холодный, как змий, я ре­шил стать писателем и всю свою жизнь писать как можно правдивее”. Хемингуэй говорил о том, как полезна для писателя работа в газете. Но что же все-таки извлек он сам из этой работы? Прежде всего, жизненный опыт, запас впечатлений и но меньший запас наблюдений от встреч с широким кругом людей. А в выработке его стиля закрепление одного из уже давно приобретенных им качеств: емкого лаконизма, умения выжать главное и поставить это главное на ударное место, в ключевую фразу или заглавие.

Почти два года длился второй тур газетной работы Хемингуэя; постоянной базой его был Париж. За эти годы Хемингуэй много повидал и многому научился.

Хемингуэй годами воспитывал в себе честное и серьезное отношение к слову, а именно такого отношения и не было в газете Хайндмарша, и не этого от него требовали редактора.

Именно в Торонто Хемингуэй пытался уклониться от этих поручений, пародируя в своих фельетонах напыщенный стиль газеты. Такова, например, его парозия на рекламные публикации об американских курортах:

“Прекрасное озеро Мухобойное гнездится как язва в самом сердце больших северных лесов. Вокруг него громоздятся величественные горы. А над ними высится величественное небо. Со всех сторон его окружают величественные берега. А берега усеяны величественной дохлой рыбой — заснувшей от скуки”.

Хемингуэй всегда ставил непременным условием для писателя совесть, чувство справедливости. “Писателю, не умеющему различать, что справедливо и что несправедливо, лучше бы, чем писать романы, взяться за издание ежегодника похвальных дипломов первых учеников”.

Он окончательно решил бросить газету, где ему становилось тесно и, главное, душно. В январе 1924 года он снова надолго прощается с Америкой и уезжает в Париж, чтобы стать писателем. Здесь ему снова приходится очень туго. Все надо было начинать сначала. Ведь в ноябре 1922 года у жены его, ехавшей к нему в Лозанну, выкрали чемодан, а в чемодане было все до этого времени написанное Хемингуэем: почти законченный роман, восемнадцать рассказов, тридцать стихотворений. Однако нет худа без добра: начинать можно было, минуя уже пройденный ученический этап.

**III. НА ПОДСТУПАХ К МАСТЕРСТВУ**

Итак, опять Париж, но уже не как штаб-квартира корреспондента, в которой оттачивалось острие хемингуэевской манеры, а как литературный университет, как мастерская художника, где отшлифовывались грани его мастерства.

Еще в конце 1921 года он получил доступ в литературные круги Парижа рекомендательными письмами к Эзре Паунду и Гертруде Стайн. На некоторое время они и стали его первыми наставниками в Париже.

Одной из первых публикаций Хемингуэя была напечатанная в 1922 году в нью-орлеанском журнале Двурушник” (“Double-Dealer”) издевательская басенка. “Наконец”

Он старался выплюнуть истину;

Сначала во рту пересохло,

Потом оп заболтал, распуская слюни;

Истина повисла на его подбородке.

“ Среди других стихов есть сатирические зарисовки политических деятелей в духе приведенного выше стихотворения о Теодоре Рузвельте. Таковы, например, стихи об участниках Лозаннской конференции, политиканах Стамбулинском, Венизелосе и др. под ироническим заглавием “Все они хотят мира — что есть мир?”. Есть еще стихотворение “Митральеза” о верной портативной машинке “Корона”, которая, как пулемет, прикрывает медленное продвижение пехоты ума по труднопреодолимому полю гладкого белого листа. Есть два-три стихотворения о жестокости и грязи дойны, одно об индейцах Оклахомы, одно о прощании с юностью, одно о буднях Латинского квартала — “Монпарнас” **и,** наконец, стихотворение “Эпиграф для главы, которое звучит действительно, словно эпиграф для главы романа “Фиеста”:

Мы загадывали далеко,

Но шли кратчайшим путем.

И плясали под сатанинскую скрипку,

Спеша, домой помолиться, .

И служить одному господину ночью,

Другому — днем.

Некоторые стихи Хемингуэя были напечатаны в журналах “Литтл ревью” и “Поэтри”, даже в немецком “Квершнит”. Всего известно около дюжины стихотворений Хемингуэя, из них десять были напечатаны в 1923 году в книжке “Три рассказа и десять стихо­творений”, тиражом в триста экземпляров. Но Хемингуэй не обманывался и не переоценивал себя как поэта; он продолжал упорно работать над прозой. Хемингуэй отработал некоторые свои канзасские заметки репортера, зарисовки 'военного корреспондента, зарисовки боя быков в виде миниатюр размером в десять — двадцать строк, и восемнадцать таких миниатюр были изданы в Париже в 1924 году под заглавием “В наше время” тиражом в сто семьдесят экземпляров. Книжка эта была, конечно, только разведкой, наряду с которой Хемингуэй готовился и к серьезному прорыву.

Он писал много рассказов, и опубликовать некоторые из них помогла ему работа в журнале “Трансат-лантик ревью” Этот недолговечный журнал был детищем Форда Медокса Форда. Уже пожилой, опытный романист, в прошлом соавтор Джозефа Конрада **по** одному из романов. Форд Медокс Форд обосновался в начале 20-х годов в Париже, охотно возился с начинающими авторами, создал для них журнал. Хемингуэй жадно слушал рассказы Форда о Конраде, Гарди, Йетсе и охотно помогал ему редактировать журнал.

Шел второй год вторичного пребывания Хемингуэя в Париже. Уже около пяти лет он общался в Европе с людьми “потерянного поколения”. Накоплен был большой запас наблюдений, отточено мастерство. И вот в 1925 году это дало свои результаты. Хемингуэй задумал и в очень короткий срок написал роман “И восходит солнце”', который был издан осенью 1926 года и принес ему, наконец, мировое признание.

В середине 1927 года Хемингуэй второй раз женился — на парижской журналистке Полине Пфейфер, американке из Сэнт-Льюиса. Летом 1928 года, в разгар работы над романом “Прощай, оружие!”, она перенесла трудные роды. Ребенок был извлечен путем кесарева сечения. К счастью, выжили и мать и сын( но связанные с этим переживания отразились ив “Прощай, оружие!” и остались незабываемыми. О них написал Хемингуэй в Предисловии к “Прощай, оружие!” (1948). Написал он здесь, как уже упоминалось, и о том, что в ту же осень 1928 года в Ок-Парке покончил с собою его отец. Легко представить себе, что эти события могли повлиять на общий тон романа, определить один из его мотивов — утрата всего дорогого и любимого.

Хемингуэй пробыл на передовой недолго, всего с неделю; его ранило, и после госпиталя, уже перед окончанием войны, к его фронтовому опыту прибавилась служба в пехотной ударной части. Вот и все. Но недаром говорил сам Хемингуэй, что писателю нужно знать войну, но не окунаться в нее надолго. Может быть, именно краткость пребывания на фронте не дала притупиться первому впечатлению, а ранение еще заострило его. Потом за месяцы, проведенные в госпитале, Хемингуэй проверил и расширил - охват своих переживаний, слушая свидетелей катастрофы под Ка-поретто.

И вот не только самые факты, но и художественная догадка, а в известной степени л разгадка происшедшего, сделали неделю на фронте достаточной для того, чтобы через десять лет развернуть широкое полотно романа.

В раннем стихотворении, уже цитированном выше, Хемингуэй писал, что днем служит одному, а ночью другому господину. “Религиозное чувство появляется у меня только ночью”, D откликается Фредерик Генри. И признается: “Иногда по ночам я боюсь бога”. И в этой расколотости на дневное и ночное нет ничего необычайного. Хемингуэй был человеком действия, не **очень** склонным к медитациям. Однако и перед ним в эти ночные часы раскрывалась та сторона человеческого существа, о которой писал Тютчев:

Как океан объемлет шар земной. Земная жизнь кругом объята снами;

И мы плывем, пылающею бездной. Со всех сторон окружены.

Это чувство расколотости на дневное и ночное свойственно бывает даже людям такого светлого мироощущения, как, например, Пушкину в “Воспоминании” (1828) или Роберту Фросту (“Теперь я знаю: с ночью я знаком...”).

Еще не изгладились последствия контузии, как для Хемингуэя наступили другие жизненные испытания, недовольство собою, тоска, “треклятая жизнь”, от которой заслониться можно было только работой. И вот когда с работой не ладилось, а мозг бывал к тому же расторможен похмельем, то, что начиналось как ночные раздумья, вторгалось и в строй дневных мыслей.

В начале 30-х годов для Хемингуэя закончился напряженный творческий период, когда он, работая сосредоточенно и упорно, выпустил за четыре года (1925—1929) четыре прогремевшие книги.

Внешне кризис даже как бы не затронул его жизни, но на самом деле отбросил свою густую тень на его творчество. Ведь кризис был повсюду — ив США, и в Европе, и в нем самом.

Хемингуэю уже не сиделось в Европе Ему, видев-( чему Рим и Рур еще в годы зарождения фашизма, Ев-с попа рисовалась жертвой Гитлера и Муссолини, а позднее Франко и Лаваля, Блюма и Невиля Чемберлена. Она делалась Европой оголтелого натиска фашизма и лицемерных уступок, закончившихся Мюнхеном и второй мировой войной. Для Хемингуэ я это было отвратительно, и после “Прощай, оружие!” oHjf распрощавшись с Европой, в 1929 году обосновался во Флориде. После десятилетней внешней эмиграции, он, по сути дела, оказался внутренним эмигрантом, мало связанным с американской действительностью — “в своей стране был словно иностранец”

Почти все основные книги Хемингуэя показывают разные виды сопротивления социальному неустройству, но, как правило, это образцы мужественного сопротивления в одиночку, и Хемингуэю ясны тщета и крах этих попыток. А / .

Герой Хемингуэя — песчинка в бурях первой мировой войны и в водовороте послевоенного просперити и кризиса. Хемингуэй не судит, не осуждает своих героев. Он скорее соответчик. Он не дает им никаких рецептов, потому что сам рецептов не знает. Разве что заставляет их, закусив губу, с достоинством переносить испытания и самое смерть; он идет рядом с ними, сочувствует многим из них. Но Хемингуэй все-таки нашел для себя отдушину, общаясь с простыми людьми во Франции, Испании, у берегов Флориды, в Африке и на Кубе. Однако в начале 30-х годов многое было еще впереди, и Хемингуэй переживал тяжелый кризис. За семь лет — с *1929* по 1936 год—Хемингуэй опубликовал только сборник-рассказов, а также две книги смешанного и неопределенного жанра. Творческая работа Хемингуэя не прекращалась, она приняла только новые формы. Это была") О и проба новых жанров, и поиски новых средств выражения, и вдумчивая оглядка на уже сделанное. Это сказывалось не только в трактате “Смедть после полудня” и в путевом дневнике “Зеленые холмы Африки”, но даже в серии фельетонов для популярного журнала “Эскуайр”/

Меньше было непосредственных творческих достижений и больше раздумий. Иногда, оглядываясь, он все же недоумевал: “А как же это у меня, в сущности, получилось?” — и примеривался, как писать еще точнее, осязательнее и правдивее. Шло накапливание новых и по-новому осмысленных впечатлений, отсев наиболее значительных и волнующих его тем. Словом, Хемингуэй, и приостановившись, собирался с силами для нового броска вперед.

[В 1933 году вышел его третий сборник рассказов “Победитель не получает ничего”. В эту книгу опять вошли рассказы разных лет. В ней был продолжен и завершен (в рассказе “Отцы и дети”) цикл о Нике Адамсе, закреплены некоторые давние воспоминания, но прежде всего, выявлены и заострены настроения последних лет. Мрачно и безнадежно заглавие этой книги, и сборник оправдывает его. Это, пожалуй, самая мрачная и безнадежная книга Хемингуэя.

Свои мысли о возврате к непосредственному, неиспорченному восприятию мира Хемингуэй подкрепляет размышлениями о несовершенстве “машинного века”, который, по представлению западных интеллигентов, внес столько путаницы за последние полтора столетия, а также размышлениями о бренности цивилизации этого века, очищаемой, по мысли Хемингуэя, потоком Гольфстрима, который непреходящ, как творения настоящей человеческой культуры и искусства. Хемингуэя дотянуло уехать дальше. Он вместе с женой зимой 1933—1934 года предпринял охотничью экспедицию в восточную экваториальную Африку.

В годы своего кризиса Хемингуэй писал очень по-разному, на разные темы и в разной манере. Не утрачивая достигнутого мастерского владения недоговоренным намеком ранних рассказов и скупой четкостью изобразительного штриха описаний “Фиесты”, Хемингуэй в 30-х годах дополняет свою языковую палитру и другими средствами. Как зоркий художник, он для описаний все чаще пользуется развитым и разветвленным периодом с подробной детализацией.

Неизвестно, сколько времени еще улаживал бы Хемингуэй свой материал, но он ехал на войну в Испанию, и время не ждало. Кто знает — вернешься ли еще к рукописи. И надо денег, побольше денег для Испании. И надо скорее бросить в лицо богачам эту книгу, как пощечину за их отказ помочь или за подачки. Свои три рассказа он объединил в роман летом 1937 года, на время, приехав из Испании во Флориду.

В 1936 году Хемингуэй был психологически подготовлен к выходу из своего кризиса и к “прыжку” в Испанию уже тем, что он осознал этот кризис и отчасти воплотил его в “Снегах Килиманджаро”. Однако события в Испании влекли его туда и по другой при­чине. Свои социально-экономические знания писатель получил на практике: на своей шкуре участника первой мировой войны, глазами корреспондента на Генуэзской и Лозаннской конференциях, на Ближнем Востоке и в Руре. Революция представлялась ему как прямое действие, как стихийный взрыв народного гнева в результате непереносимых угнетении и особенно после военного разгрома. “За проигранную войну, проигранную позорно и окончательно, приходится расплачиваться распадом государственной системы” (“Старый газетчик”, 1934). Организованная революционная борьба рабочего класса была ему чужда, а политика представлялась, прежде всего, хитросплетением всяких парламентских сделок, грязной игрой демагогов и политиканов. На подоге 20-х годов он скорее чувством, чем умом, ощущал предреволюционную обстановку послевоенной Европы и эмоционально готовился к коренной ломке. “Непосредственно после войны, — писал он в 1934 году, — мир был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды — по­тому что она была логическим выводом”. В Италии он видел первые бои всего прогрессивного против наглеющего фашизма и навсегда вынес ненависть к фашизму всех мастей и оттенков.

Считая своим долгом не только рассказать, но и показать американской общественности, какие испытания и какие зверства твердо выносят испанцы ради победы Республики как народ своим мирным трудом поддерживает ее Хемингуэй с головой уходит в съемку фильма “Испанская земля”, сценаристом и диктором которого был он сам, режиссером — Йорис Ивенс,/ а оператором — Джон Ферно. В трудной и опасной боевой обстановке они снимают эпизоды боев за Университетский городок, атаку интербригадовцев на реке Хараме, бомбежку Мадрида. *В* мае Хемингуэй повез пленку в США. Ему удалось показать фильм в Белом Доме президенту Рузвельту. Он добился выпуска его в прокат с гордостью пишет в письмо от 24 июля 1937 года, что фильм принес крупную сумму в фонд помощи Испании. Сценарий “Испанской земли” был опубликован в Кливленде, и авторский гонорар Хемингуэй послал вдове Хейльбруна. На выручку от проката и на деньги, собранные Хемингуэем среди богатых знакомых, были куплены еще санитарные машины и медикаменты, но они так и не попали в Испанию: на них было распространено эмбарго по акту о невмешательстве.

В августе 1937 года Хемингуэй вернулся в Испанию, побывал на Арагонском фронте и под Теруэлем. В конце сентября в Мадриде была раскрыта крупная вредительская, шпионская и террористическая организация “пятой колонны”. Поздней осенью и зимой Хемингуэй сидел в пустом, полуразрушенном отеле Флорида, и о нем говорили: “Сидит в отеле Флорида и пишет веселую комедию”.

Весной 1938 года Хемингуэй ненадолго уехал домой в Америку. Но вести о мартовском прорыве фронта на Эбро, о гибели большей части батальона Линкольна на речных переправах сорвали его опять из Флориды. В Испании он застал тяжелые дни. Все лицемернее была политика невмешательства, все теснее кольцо эмбарго, все настойчивее требование распустить интербригады, а с другой стороны, все откровеннее помощь генералу Франко со стороны Гитлера и Муссолини. ” На дорогах и переправах Каталонии Хемингуэй увидел поток беженцев. По свежему впечатлению Хемингуэй пишет очерк “Старик у моста” А Это уже не фронтовой боец, а мирный крестьянин, уцелевший, быть может, только потому, что стоит нелетная погода. Но он не остается у фашистов и, покинув своих животных, уходит вместе с армией. На трех страницах показана трагедия мирного населения Испании, согнанного с насиженных мест. Очерк был написан под гнетущим впечатлением поражения.

Осень 1938 года принесла развал фронта на Эбро, а затем и потерю всей Каталонии. Новости из Испании уже не интересовали телеграфные агентства. Очередь была за Чехословакией. Для дальнейшего пребывания ненужного здесь агентству корреспондента Хемингуэю требовались деньги, и он засел за серию очерков-рассказов для того же журнала “Эскуайр”, который выручал его в недавние годы. Писал он их под гнетущим впечатлением надвигающейся катастрофы. Это были, собственно, заготовки для уже задуманного им большого полотна, но позднее замысел изменился, и он не воспользовался этими эскизами.

Осенью 1960 года в журнале “Лайф” были опубликованы главы так и не вышедшей книги “Опасное дето” о поездке Хемингуэя в 1959 году в Испанию 1/ Внешний повод к созданию этой книги был прост. Сын друга Хемингуэя, матадора Каэтана Ордоньеса (выведенного им под именем Педро Ромеро в “Фиесте”),— молодой Антонио Ордоньес проводил соревнования с нынешним фаворитом Домингином, а Хемингуэй в роли, так сказать, морального ассистента и “летописца” сопровождал его по целой серии коррид в разных городах Испании.

Хемингуэй за сорок лет видел королевскую Испанию, наконец, стряхнувшую цепи феодальных порядков. Видел республиканскую Испанию, упорно боровшуюся за честь и свободу испанского народа, но из-за предательства всякого рода “пятых колонн” не смог­шую справиться с вооруженным вмешательством. Наконец — подавленную и закованную в новые цепи страну непобежденных, которую он увидел во франкистской Испании, в 1959 году. Каждую из этих Испании Хемингуэй так или иначе отразил на страницах своих книг, хотя о последней он мог говорить лишь эзоповым языком намеков. Хемингуэй после семи лет, проведенных на различных фронтах, наконец обосновался с четвертой своей женой Мэрп Уэлш на Кубе и начал писать “большую книгу”, огромное полотно, которое должно было показать виденное и пережитое за эти годы на земле, в воде и в воздухе” . По-видимому, эта кшгга включила бы и военные впечатления, но работа над ней была рассчитана на много лет, а Хемингуэю не терпелось высказать свое отношение к тому, как велась эта война американцами, и дать оценку того, к чему она привела. В 1949 году Хемингуэй прервал работу над “большой книгой” и начал писать рассказ на военном материале. Но тут подоспела поездка в Италию. На охоте отлетевший пыж попал ему в глаз. Началось заражение крови. Некоторое время состояние Хемингуэя считали безнадежным. Спасли его только огромные дозы пенициллина. Временно он полуслеп. Все это, по-видимому, нашло отражение в рассказе “Нужна собака-поводырь”.

Очевидно, опасаясь, что он не успеет сказать о войне то, что он, может быть, хотел сказать о ней на страницах “большой книги”, Хемингуэй поспешил закрепить это в начатом рассказе. По собственным его словам, он “не мог остановиться, и рассказ вырос в роман”

Хемингуэй считал своей основной целью писать только о том, что знаешь, и писать правду. А кого начинающий писатель знает лучше себя? Однако Хемингуэй не писал автобиографии, все проведено им сквозь призму художественного вымысла, который для него правдивее эмпирических фактов. Хемингуэй обычно берет кусок жизни и, выделив основное, переносит его в условный план искусства, сохраняя и в вымысле много увиденного и пережитого. И внутреннюю жизнь Хемингуэя можно лучше всего проследить и понять по тому, что 'волновало его воображение и что воплощено им в художественных образах.

Хемингуэй мастерски владел многими видами литературного оружия и в разное время применял их порознь, а иногда и вместе, в зависимости от поставленной цели, художественной задачи и данных обстоятельств.

Вторая мировая война. Хемингуэй на пять лет, позабыл, что он писатель. Он рядовой боец-фронтовик. И за все эти годы только немногие корреспонденции.

Послевоенное похмелье и новые разочарования. Затвор в Финка Виджиа, подступающая старость. Долгая судорожная работа над “большой книгой”.

Тысяча девятьсот пятидесятый — пятьдесят четвертый годы — один удар за другим. Инвалидность, которая сужает творческие возможности и побуждает спешить. Оглядка полковника Кантуэлла на свою юность и его плевок в генералов-политиков в романе “За рекой, в тени деревьев”, который соединяет памфлет с романтикой. Мягкость тона в рассказе “Нужда собака-поводырь”; трактовка старика и мальчика — в этом все явственнее более человечное отношение к своим героям.

Тысяча девятьсот пятидесятые годы. После ряда новых ударов старость, наконец, наступила. Писательское дело — теперь уже вынужденно одинокое дело. Думающий старик, вслед за образом Ансельмо, создает фигуру Сантьяго. Повестью “Старик и море” — возвращение “на круги своя”. На фоне реминисценций Хемингуэй сливает реальный образ рыбака с мыслями и чувствами автора и создает повесть-то налог.

Тысяча девятьсот шестьдесят — шестьдесят первый годы. Хемингуэй сорван событиями с насиженных мест на Кубе. Начинается угасание. “Большая книга” положена в сейф, как наследство. Прощание с прошлым. Паломничество по местам, где проходила юность. “Опасное лето”, “Парижские годы”. Последняя оглядка.

И в ночь на 2 июля 1961 года — конец. Точка в далеко не завершенной жизненной рукописи Хемингуэя.

Только двигаясь по кругу — от содержания к форме и от нее опять к содержанию,— можно хотя бы попытаться очертить то огромное пространство, которое занимает в уме, сердце и воображении мирового читателя творчество Хемингуэя, этого писателя-человека, со всеми его, такими человеческими, слабостями и заблуждениями и со всем его обаянием человека во весь рост, имя которого действительно звучи! гордо. Ошеломленный войной и неожиданной славой ветерана, многого не понимая и даже не видя, двадцатилетний Хемингуэй снова окунулся в привычный мирок родного городка, но скоро почувствовал, что задыхается. Кругом было все то же, привычное, обжитое, но теперь бесконечно чуждое. Позднее, в рассказе “Дома”, Хемингуэй вспоминал: “В городе ничего не изменилось... но мир, в котором они жили, был не тот мир, в котором жил он”. Все было чертовски сложно, и надо было врать, врать на каждом шагу, о войне, о героизме, о прикованных цепями германских нулем чеках, и надо было становиться на колени рядом с тенью и молиться о том, чтобы снова стать добр мальчиком. И ему, как Кребсу, герою этого рассказ несносна была обязательная повседневная рутина: работать в конторе, приглядывать невесту, ходить в церковь, заводить полезные знакомства, спекулировать на рассказах о собственных мифических подвигах. Только ложь, притворство, подлаживание к взглядам и вкусам могли обеспечить ему место л признание. Не мудрено было сломаться и уступить. Но Хемингуэй прибег к уже испытанному лекарству: лето 1919 года он провел в лесах Мичигана. Охотился, удил рыбу, читал, пробовал писать и там же решил, что это станет его жизненным делом. Но первые его литературные опыты неизменно возвращались из редакций.

Еще в годы детства Хемингуэя основными центрами американской культурной жизни были Бостон с его Гарвардским университетом, цитаделью аристократического академизма так называемых “бостонских браминов”, и многонациональный Нью-Йорк как издательский и театральный центр и прибежище богемы в так называемом Гринич Вилледже. Хемингуэю одинаково чужды были и Гарвард, и Гринич Вилледж. Выросший вблизи грубоватого, кипучего и размашистого Чикаго, Хемингуэй был типичным юношей демократии ческого Среднего Запада. К этому времени Ок-Парк стал уже предместьем Чикаго, и его нельзя было считать провинциальным захолустьем, но влияние нового, культурного Чикаго на Хемингуэя сказывалось еще очень слабо. Вырываясь еще в школьные годы на побывку в Чикаго, Хемингуэй на первых порах встречал там больше всего боксеров и других спортсменов, а то и липнувших к этой среде гангстеров и аферистов. После возвращения из Европы, отдышавшись в лесах Мичигана, Хемингуэй пытался обосноваться в Чикаго. Он даже попробовал войти в состав редакции журнала “Кооперетив Ком-монуэлс”, однако вся затея с журналом оказалась аферой, и Хемингуэй поспешил поскорее разделаться с этой работой. Не по душе было Хемингуэю в этой шум­ной столице дельцов и бандитов как спортивной арены, так и биржи. К счастью, он познакомился с работником рекламного агентства Смитом и поселился в его семье. В доме Смитов и его жена, и свояченица (впоследствии вышедшая замуж за Дос Пассоса), и еще один постоялец, товарищ Хемингуэя,— все занимались и интере­совались литературой и вообще искусством, но серьезнее всех относился к своей литературной профессии сам Хемингуэй. Хорошим знакомым Смитов был Шервуд Андерсон, который очень высоко оценил первые рассказы Хемингуэя, в том числе “У нас в Мичигане”. В доме Смитов Хемингуэй познакомился с начинающей пианисткой мисс Хэдли Ричард сон, и осенью 1921 года они поженились.

Тем временем Хемингуэй усиленно готовился к писательской деятельности. Он пытался точно зафиксировать на бумаге то, что видел, слышал на матчах, в тренировочных залах,— движения, свет, запах, любую деталь. Надо было работать, и он устроился корреспондентом газеты в пограничном канадском городе Торонто. Зимой 1920 года и весной 1921 года он напечатал в газетах “Торонто дейли стар” и “Торонто стар цикли” полтора десятка репортажей и фельетонов на самые разнообразные темы: рыбная ловля и снобизм обывателей, заметки фронтовика и репортаж о чикагских боксерах и гангстерах. К гораздо позже.

Вскоре после женитьбы Хемингуэй договорился с редакцией торонтской газеты о том, чтобы ему, как человеку, уже побывавшему в Европе и знающему языки, предоставлены были права внештатного корреспондента газеты с очень широким и свободным полем деятельности, с оплатой разъездных расходов, но без всякого гарантированного оклада. Шервуд Андерсен снабдил Хемингуэя рекомендательными письмами к своим парижским литературным друзьям, и в декабре 1921 года чета Хемингуэев двинулась в Париж.

Политический накал послевоенной жизни вовлек Хемингуэя и в более серьезное дело: ему поручили осветить работу Генуэзской конференции. Правда, из Генуи и Рапалло он шлет корреспонденции, довольно необычные для дипломатического обозревателя Так, канцлер Вирт напоминает ему солиста на трубе в оркестре германской делегации, какой-то важный итальянский генерал показан одним звуковым штрихом: позвякиваньем орденов при каждом движении. У англичан он подмечает джентльменский вид и отличные костюмы. Но многое он разглядел в Италии лучше, чем иные “искушенные” корреспонденты. Так, некоторые из них преподносили Муссолини либо как великого человека. Наполеона современности, как человека, способного железной рукой одернуть ленивый и недисциплинированный итальянский народ; либо склонны были рассматривать его просто как надутого шута.

Хемингуэю удалось разглядеть Муссолини поближе. И, разоблачая его, как величайшего шарлатана Европы, он тут же предостерегает читателей своей газеты **от** недооценки зловещих возможностей этого политикана и демагога.

От Хемингуэя ждали корреспонденции о красной опасности в Италии, а он писал о подстроенном Муссолини убийстве фашистами социалистического депутата Маттеоти, преступлении, которое сделало Хемингуэя убежденным антифашистом, каким он и оставался до конца своих дней. Один из соратников Хемингуэя — поэт Роберт Мак-Элмон писал о Муссолини:

Вот Муссолини. У нас ему бы не удалось —

Только не в нашей стране.

Руку за лацкан. Пятиминутная пауза

И глаза, гипнотизирующие аудиторию...

Да мы, в нашей стране,

Забросали бы его тухлыми яйцами

На второй минуте его гипнотического сеанса.

Знаем мы этих странствующих гипнотизеров.

Прямолинейный и влюбленный в свою родину, Мак-Элмон питал иллюзии, которых не избежал позднее и Синклер Льюис, назвав свой роман о нарождающемся в США фашизме “У нас это невозможно”.

А вот Хемингуэй оказался более чутким, он не скло-зен был преуменьшать для США самую угрозу фашизма. И это он написал стихи о “защитнике” трудящихся от трестов, а на деле воинствующем политикане и певдодемократе, умело игравшем на обмане рабо­чих.— словом, о президенте Теодоре Рузвельте:

Рабочие верили,

Что он борется с трестами,

И выставляли в окнах его портрет.

“Вот он показал бы бошам во Франции!” —•

Говорили они.

Все может быть —

Он мог бы сложить там голову,

Может быть,

Хотя генералы чаще умирают в постели

Как умер и он.

И все легенды, порожденные им в жизни,

Живут и процветают,

И он не мешает им своим существованием.